

Из истории книги

Если бы не письмо Григорювича от 28 марта 1886 года, вполне возможно, «Степь» не была бы написана. Думаю, что, создавая свою литературную одаренность, о значительном литературном поприще Чехов не слишком заботился, не очень верил в свою литературную «путешествие», как не верили в нее окружающие из его московской литературно-журнальной братии. Но вот молодому автору, известному уже не одной только веселой, сытой и легкомысленной Москве, старый Григорювич прочувствует и назидает: «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий».

Ответ Чехова исполнен глубоко сердечного чувства: «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния... Как Вы придалекали мою молодость, так пусть Бог упокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дела, чтобы благодарить Вас».

А ведь было уже получено приятное для самолюбия письмо самого Суворина, приглашившего Чехонте сотрудничать в газете «Новое время». И Короленко, добрый знакомый и уважаемый коллега, понуждал в письме к «серьезности» и советовал, например, засесть за повесть. Тогда, с большей свободой и смелостью выражений, которая была бы неуместна в письмах к почтенному Григорювичу, Чехов признался: «Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный... свою чистую музу я любил, но не уважал и не разводил ее туда, где ей не подобает быть». До этого он усердно трудился, зарабатывая пером на содержание семьи, да и прачечная практика спорилась. Ему не в чем было себя упрекать — работал в поте лица своего. А тут испугался, не профанирует ли дар Божий! Обострилось и ощущение быстротечности времени. Так призыв Григорювича для Чехова стал благожелательным напоминанием, началом осознанного высокого служения литературе.

Из чеховских писем зимы — весны 1888 года с непреложностью явствует, как много надежд было связано с его «степными» дебютом. Он надеется на успех и втайне считает, что его заслужил, хотя нередко испытывает мучительную неуверенность и страх неудачи. Тем болезненное он воспринимает обычные, про forma утешения, как о том свидетельствует письмо А.С.Лаазареву-Грузинскому, где с радостью для него запальчивостью и некоторой даже язвительностью Чехов отвечает на такое утешение — в случае, если повесть не удалась, — «удалась она или нет, не знаю, но, во всяком случае, она мой шедевр, лучше сделать не умею, и поему Ваше утешение, что «иногда вещи не задаются, утешить меня не может».

Да-с, батенька! У Вас ещепереди будущее (2—3 года), а я переживаю кризис. Если теперь не возьму приза, то уж начну спускаться по наклонной плоскости. А вы меня утешаете наречием «иногда». Когда Вы будете умирать, я напишу Вам: «Люди иногда умирают и Вы утешитесь».

Кн. обозрение. — 1993 — 15 окт. — с. 8—9

Два года назад он убеждал Григорювича, что еще молод, что ему всего 26 лет, что впереди есть будущее. А теперь, в 28, он считает, что подошел к роковой черте. Теперь перед внутренним взором замаячила во всей своей страшной вероятности трагедия неосуществленного таланта: что это такое, он видит на примере брата Николая, художника. А кроме того, он сам уже лет пять назад начал чувствовать утеснительность рамок, в которых принуждено жить воображение. Тогда он, как будто во всем солидарный с издателем Лейкиным, пишет ему: «За малые вещи стою горой и я и если бы все издавал юмористический журнал, то херя бы все продирижировал. В московских редакциях я один только бунтую против длиннот». И в то же время с осторожностью замечает: «Но... сознание, рамки «от сих до сих» приносят мне немало печали». То и дело приходится ему по желанию Лейкина вымарывать «лишнее» из очерков и рассказов, если тот не укладывается в немолимо жесткие границы — 100 строк. Всем известный остроумец, популярный автор «Сказок Мельпомены» и «Пестрых рассказов» уже много думает над тем, как надо писать. Он не приемлет «слабости» «сантиментов» и в жизни, и в литературе. Реальность, художественность, сердечность — вот его кредо. Правда, он не признает «субъективности»: охоту автору, например, брату Александру, «совать себя» в герою своего романа, «субъективничать» — ужасная вещь. Но и он уже грешил ею, напрямик обращаясь к читателю. Например, в раннем рассказе «За яблочком».

В «Степи» ему снова пришлось сойти с позиции отрицания субъективности, прежде всего потому, что в центре повествования — девятилетний мальчик, который жадно впитывает картины и впечатления, но еще не умеет объяснить чувства, что вызывают у него степь и путешествие по этой беспредельной, самостоятельной вселенной. Поэтому Чехов время от времени сам выходит на авансцену повествования, заслоняя собой Егорушку, и доверительно, торжественно, патетически рассказывает о степи и показывает ее читателю: «А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или залавается истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы... Едешь час-другой... и мажешь по памяти приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки мянких-степнячки и все то, что сам суверенно увидит и постичь душой. И тогда... душа дает отклик прекрасной суровой родине... И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что боится ее и вдохновляет гибнуть даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее постыдный, безнадёжный призыв: певца! певца!»

Чехов начал работать над «Степью» в конце 1887 года. По привычке ли, из скромности, из суверенной боязни — не получить, как бы мимоходом, сообщая беллетристу Шеглову-Леонтьеву, что начал «пустячок» для «Северного вестника»? «Мысль, что я пишу для толстого журнала и что на мой пустяк взглянут серьезно, чем следует, толкает меня под локоть, как черт монаха. Пишу степной рассказ. Пишу, но чувствую, что не пахнет семеном». 9-го января в письме к В.Г.Короленко холодно-отстраненное, небрежное — «пустячок» — сменилось чувством органической связи автора со своим детством — «маленькой повестушкой». Тут, кстати, Чехов пересказывает Короленко и содержание заветного письма Григорювича, так сказать, рукопожатия его в большие писатели.

А о повести говорит: «Для поэмы вздаться описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи. Тема хорошая, пишется весело, но, к несчастью, от непривычки писать все чаще уступает место страху, что вот работает он на пределе сил, а читатель возьмет да и «плюнет». Но наконец «Степь» окончена, и тут его охватывает настоящая тревога: повесть, наконец, «плоховата и заурадилась», а если так, умоляет он Плещеева, поэта и редактора «Северного вестника», чтобы он помог ему. Плещеев, поэт и редактор «Северного вестника», так и поступает, как есть: «Получили ли мою «Степь»? Забракована она или же принята в лоно «Северного вестника»? (Тогда же Чехов отправил и сердито-ироничное письмо Лаазареву-Грузинскому). А в письме Григорювичу утверждает: «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей ли-

тературе он степной царь. Я залез в его владения с добрыми намерениями, но наерудил немало. Три четверти повести не удалась. Но если «Степь» все-таки удалась — ведь она поэтична, там есть настоящие «стихи в прозе», интересные типы, — тогда он положит руку на сердце и скажет, что он рад, что и читатель опять встретится с

повзрослевшим Егорушкой, разорившейся графиней Драницкой и по-прежнему могущественным торговцем человеком Варламовым, который все так же кружит по степи, вечно таинственный и недосаждаемый. Трудный до изнеможения успех Репин принес блестящий успех. Репин вспоминал, как Гаршин со слезами на глазах читал «Степь» своим гостям-художникам, восклицая: «Таких первоязыки, жизни, непосредственности еще не было в русской литературе» (И.Е.Репин. М.: Искусство, 1950, с. 168). Плещеев, которого Чехов, посылая ему повесть, умолял о снисхождении, пишет в ответ: «Это такая пре-

ективазма», и ощущение новизны жанра, в котором нет столь знакомых основополагающих композиционных трех китов — путешествия, девятилетнего мальчика, выпавшего из уютного домашнего микромира, словно пленен из теплого гнезда, и очутившегося в странном, чуждом, ошеломляющем своей грандиозностью, красотой и ужасами степном микромире, где его хранит доброта от Христофора и ожесточает ненависть к неприкаянному, «скучающему» подвочнику Дымову.

Чехов — Плещееву: «Вы пишете, что Вам понравилась Дымов, как материал. Такие натуры, как озорник Дымов, создаются не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого жития, а прямехонько для революции... Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сохнет или попадет в острог. Это лишняя повесть».

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Майя ТУГУШЕВА

«ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НЕ УМЕЮ...»

Время идет, и от того далекого 1888 года, когда была написана «Степь», нас отделяет уже более ста лет, но, перечитывая ее сегодня, мы, подобно читавшим ее до нас, открываем неизстощимые возможности мужества, любви к прекрасному и доброму и черпаем надежду и силы в нашей могучей и великой классической литературе. Литературовед Майя Тугушева завершила работу над новой книгой о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова. Фрагмент этой книги мы и предлагаем сегодня вниманию наших читателей.



А.П.Чехов. Январь 1889 г. Петербург. Фото К.Шапиро.

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

«Куда ни пойдешь, всюду говорят о моей «Степи», — заключает Чехов в письме из Петербурга брату Михаилу Павловичу.

Так о чем же «Степь»? Чем она была, чем стала для Чехова — уже ясно: «дебют» удался. Автор многое преодолел — поборол — и многое достиг на пути восхождения, он тот, на которого возлагают большие надежды старые русские писатели, честь и слава родной словесности. Но что такое «Степь» для читателей, которым повесть могла показаться скучной (ведь не постигли ее прелести профессиональные критики: Аристархов из «Русских ведомостей» и

А сейчас схватка кончается тем, что Егорушка, у которого «слезы брызнули из глаз», устыдился своей вспышки и, «попавшись, побежал к обозу», куда к нему, немного спустя, придет Дымов: «Ера... сказала он тихо, — на, бей!» Но, не дожидаясь удара, прыгнет вниз и скажет: «Жизнь наша пропащая, люта», — словно предвосхищая свою или Егорушкину судьбу... Но что побудило Чехова написать, будто три четверти повести ему не удалось?

Тут сказались и усталость, и непривычные формы, и неожиданное нарушение заданного себе правила — «никакого субъективизма», и ощущение новизны жанра, в котором нет столь знакомых основополагающих композиционных трех китов — путешествия, девятилетнего мальчика, выпавшего из уютного домашнего микромира, словно пленен из теплого гнезда, и очутившегося в странном, чуждом, ошеломляющем своей грандиозностью, красотой и ужасами степном микромире, где его хранит доброта от Христофора и ожесточает ненависть к неприкаянному, «скучающему» подвочнику Дымову.

Чехов — Плещееву: «Вы пишете, что Вам понравилась Дымов, как материал. Такие натуры, как озорник Дымов, создаются не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого жития, а прямехонько для революции... Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сохнет или попадет в острог. Это лишняя повесть».

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

А сейчас схватка кончается тем, что Егорушка, у которого «слезы брызнули из глаз», устыдился своей вспышки и, «попавшись, побежал к обозу», куда к нему, немного спустя, придет Дымов: «Ера... сказала он тихо, — на, бей!» Но, не дожидаясь удара, прыгнет вниз и скажет: «Жизнь наша пропащая, люта», — словно предвосхищая свою или Егорушкину судьбу... Но что побудило Чехова написать, будто три четверти повести ему не удалось?

Тут сказались и усталость, и непривычные формы, и неожиданное нарушение заданного себе правила — «никакого субъективизма», и ощущение новизны жанра, в котором нет столь знакомых основополагающих композиционных трех китов — путешествия, девятилетнего мальчика, выпавшего из уютного домашнего микромира, словно пленен из теплого гнезда, и очутившегося в странном, чуждом, ошеломляющем своей грандиозностью, красотой и ужасами степном микромире, где его хранит доброта от Христофора и ожесточает ненависть к неприкаянному, «скучающему» подвочнику Дымову.

Чехов — Плещееву: «Вы пишете, что Вам понравилась Дымов, как материал. Такие натуры, как озорник Дымов, создаются не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого жития, а прямехонько для революции... Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сохнет или попадет в острог. Это лишняя повесть».

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

А сейчас схватка кончается тем, что Егорушка, у которого «слезы брызнули из глаз», устыдился своей вспышки и, «попавшись, побежал к обозу», куда к нему, немного спустя, придет Дымов: «Ера... сказала он тихо, — на, бей!» Но, не дожидаясь удара, прыгнет вниз и скажет: «Жизнь наша пропащая, люта», — словно предвосхищая свою или Егорушкину судьбу... Но что побудило Чехова написать, будто три четверти повести ему не удалось?

Тут сказались и усталость, и непривычные формы, и неожиданное нарушение заданного себе правила — «никакого субъективизма», и ощущение новизны жанра, в котором нет столь знакомых основополагающих композиционных трех китов — путешествия, девятилетнего мальчика, выпавшего из уютного домашнего микромира, словно пленен из теплого гнезда, и очутившегося в странном, чуждом, ошеломляющем своей грандиозностью, красотой и ужасами степном микромире, где его хранит доброта от Христофора и ожесточает ненависть к неприкаянному, «скучающему» подвочнику Дымову.

Чехов — Плещееву: «Вы пишете, что Вам понравилась Дымов, как материал. Такие натуры, как озорник Дымов, создаются не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого жития, а прямехонько для революции... Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сохнет или попадет в острог. Это лишняя повесть».

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (Он убьет совершенно безвредного «жулика» и в девятилетнем «пиджачке» растёт невыносимая, душающая ненависть к Дымову, который тоже не вылюбит «свиненка» Егорушку, хотя во время купания в реке не прочь был с ним по-своему добродушно пошутить. Но вот перед грозой, томься от духоты и неприкаянности, Дымов начинает придирается к товарищам. Его не могут урезонить ни угрозы, ни молчание, он только все больше распаляется. Особенно злит его безгласный подвочник Емельян. Дымов начинает кураться над ним, и тогда Егорушка чувствует, что от ненависти к озорнику ему уже нечем дышать: «Он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!»

Страшные слова в устах девятилетнего мальчика, но выражение услужливо дорисовывает еще одно, гипотетическое столкновение давно уже взрослого панчика со вселенным озорником, мчащимся по той же «богатырской» степной дороге на лихом коне или на тачанке, их последний, роковой поединок на родной земле...

Чем далее, однако, тем трудней. Легкий тон удовлетворения

Вот он каков: «Дымов... имел такой вид, будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и опустить этим мир. Его шальной, наשמелый взезд скользя по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить и над чем бы посмеяться» (